

Эрнст Неизвестный ПАМЯТИ МЕРАБА¹

Мераб был самым лучшим другом моей жизни. Долгий период мы встречались в России буквально ежедневно (за редким исключением), в эмиграции я общался с ним хотя и нечасто, но мы проводили время часами и беседовали, конечно, больше, чем с кем бы то ни было я мог беседовать. Говорить о Мерабе как о философе для меня весьма сложно, но не потому, что я плохо знаю его тексты или его мысли, наоборот, я их очень хорошо знаю. Многие я знаю даже из того, что нигде невозможно прочитать.

Для меня Мераб-личность, Мераб-человек неотделимы от Мераба-философа. В принципе я думаю, что на самых высоких точках человеческой культуры, искусства, даже в позитивистской науке, именно так и сочетаются человек и создатель философии, искусства — человек неотделим от профессиональной работы. Для таких людей, как Мераб, работа мысли неотделима от повседневного существования, от существования в буквальном смысле физиологического. Он был во всем предельно целен и эстетичен. Если у него возникали какие-либо фобии, а в этом мы с ним сходились, они никогда не носили характера каких-то поверхностных, неглубинных раздоров. Любимой фразой Мераба была: «Надо жизнь воспринимать в це-

¹ Текст подготовлен по материалам интервью С. Петрова с Э. Неизвестным, которое состоялось в Нью-Йорке в сентябре 2006 г. — *Примеч. ред.*

лом». Но им отторгалось все, что казалось не эстетичным, не в парфюмерном смысле слова, а в глубоко психологическом, если хотите, нравственном смысле, отчуждение происходило на уровне несовместимости Мераба с антиэстетизмом. Глупость казалась антиэстетической. Движение мысли для него само по себе содержало познание мыслью мысли, содержало в себе эстетическую сторону бытия. И это неудивительно. Я очень часто слышал от таких людей, как Ландау, Капица, с которыми был в довольно близких отношениях, слова «красивая формула», «красивая гипотеза», «гармоничная мысль» и так далее. Программисты говорят, что определенные программные конструкции бывают красивыми и некрасивыми и что некрасивые очень часто неправильные. Собственно глубинное ощущение Мерабом этой стороны жизни и навстречу мое такое же ощущение нас сближало и делало общение праздником, и мы любили друг друга в большой степени за это.

Что же говорить о Мерабе как о философе? Это неисчерпаемая тема, и я думаю, что исследования этого будут очень долгими, потому что Мераб гораздо сложнее, чем представляется сейчас. То, что он сложен, знают все, но сложен не в том смысле, что непонятен, а сложен именно тем, что он очень глубинен, поэтому пласт за пластом будет высвечиваться ядро его философии. Больше того, время, само по себе время, которое является одной из самых главных призм, через которые люди обычно смотрят на прошедшее и на великих людей прошедшего, каждое время, снимая пласт, дает увидеть в них то, что не видели современники. То же самое произойдет с Мерабом. И многое, что казалось противоречивым или недостаточно ясным (хотя для меня Мераб наиболее внятный из современных философов, не только российских, но и мировых), будет понятно.

Я неоднократно слышал Мераба и читал его тексты. Конечно, я много с ним общался, и многие вещи

мне ясны исходя из знания его внутреннего мира, но, повторяю, для меня он был и остается наиболее внятным из современных философов, не только российских, но и мировых. Трудно назвать более точного в мысли и артикуляциях мысли философа, поэтому было бы крайне опасно подходить к работе с его архивом с претензией на «редакцию» мысли Мераба или его стиля. Впрочем, существуют принятые во всем мире нормы работы с архивами, и с такими претензиями нельзя работать ни с каким архивом. Что касается разных трактовок его наследия, то это устранить никому невозможно, потому что даже внутри догматических построений происходят богословские споры. Конечно, обыкновенная стервозность, глупость, карьеризм должны быть наказаны, но в целом это хорошо для дела Мераба, это говорит о многоплановости явления, потому что одноплановое явление не может никак трактоваться. К Данте и Библии написано столько комментариев (и противоречивых в том числе), что по объему это в тысячу раз превосходит тексты и Библии, и Данте. Кроме того, все исторические личности обязательно оболганы, их деяния извращены, — это закон истории; неисторические личности не оболганы, потому что миф держится в семье всего одно поколение.

Схематично мысль о иудеохристианской культуре, европейской культуре, уже почти мировой, состоит в том, что эта культура впитала в себя два начала — библейское, пророческое, и античное, греческое. Это совершенно очевидно, если анализировать даже не мысли, а построение текстов. Совершенно ясно, что ветхозаветное построение текстов следует библейским законам — это поэтическая форма изложения мысли в отличие от греческой, где существует конструктивная логика, четкость и точность повествования. Библия (а я проиллюстрировал всю Книгу Пророков) не нуждается в той точности, которой обладали европейские мыслители или политики как стилем. Кодекс Напо-

леона — это, конечно, экстремальный пример, но удивительны его прозрачность и четкость.

Мераб по видимости отличается от традиционной русской философии как европеец, его и рассматривают за пределами России как европейца. И я предвижу, что в ближайшем будущем на скудном философском мировом пространстве, на этой самонадеянной поляне дилетантов, и не только на поляне дилетантов, а и среди крупнейших философов XX века имя Мераба будет вырастать.

В действительности Мераб более сложная фигура — и как личность, и как философ. Философия — и вообще европейское мышление — отчасти втянула в себя библейское начало, как я называю пророческое, то есть притчу (если говорить о языке), обязательные повторы как ритмические, так и смысловые, почти тантрические звучания, которые должны не только в чем-то логически убедить, но и нечто внушить. Если библейские пророки и вся Библия опирались не на мыслительно-логические основы восприятия, а на веру, на мистическое прозрение и доверие к высшему существу, вернее, к Богу, то европейское сознание учило мыслить (учило не только красноречию, как, скажем, Цицерон).

А вот Мераб (странным образом это невидимо) — частично последователь и русского, то есть восточного, условно говоря, философствования, то есть идущего, допустим, формально от Сковороды. Вся русская философская школа, которую я люблю (я очень люблю русскую религиозную философию, веховцев) и во многом исхожу из нее в своих размышлениях (иногда это прокрадывается в мои работы не как иллюстрация, но как поддержка), все русские мыслители в большей степени несут в себе библейскую содержательность. Когда я говорю о содержании, я имею в виду содержание не в античногреческом, а в библейском смысле. Они не философствуют, они, как Сковорода, пророчествуют (даже гениальный Соловьев, по существу, пророчествует),

предшествуют экзистенциализму, как в свое время Блаженный Августин предшествовал из веры экзистенциализму.

В Мерабе удивительным образом есть сочетание двух начал. Очень возможно, что если он сейчас меня слышал бы, то он начал бы отмежевываться от того, что он называл «русопятской невнятностью». У него нет невнятности, но в его философии (впрочем, и в европейской философии) мы видим поэтическую философию. Ницше, Шпенглер, многие западные философы были достаточно профетические (но это не главное, общий слой, общий тон европейской философии вобрал в себя элементы античного рационализма). Мераб (пусть он сейчас на меня не обижается) под маской античного рационализма и опираясь на Декарта (например, в «Картезианских размышлениях») в действительности нес все равно элементы определенной веры, следуя библейской традиции.

Мысль, опирающаяся на мысль. Мысль, опирающаяся не на факт, а на мысль. Поэтому, например, отец Мень полностью разделял философию Мераба как христианскую. А как еще? Именно так. Мерабовская мысль — это потрясающая динамическая, работающая через всю жизнь «мысль о мысли всей жизни». Его лекции — это, я бы сказал, одиссея мысли. Мысль исследует мысль, и мышление исследует мышление. Причем как матрешка в матрешке, бесконечно. Это не категоричность Гегеля, это не императив Канта, это свободный поэтический поток, равный современным видам искусства, соответствующий, если хотите, модернистским представлениям о потоке сознания. В этом в определенном смысле Мераб новатор и, конечно, поэт. А о том, что он поэт, говорит то, что он сам поэтизировал мысль, и то, что он брал образы для иллюстрации своих мыслей из литературы и из изобразительного искусства, и никто больше Мераба не питался искусством, и изобразительным в том чис-

ле. Я могу гордиться тем, что и моим искусством — тоже. Даже наиболее, так сказать, философски сконструированные «Картезианские размышления» — это все равно есть поэтизация мысли, не говоря уже о его исследовании Пруста.

В действительности он очень похож на древних философов, на алхимиков, для которых главным было не столько производное, выданный продукт. Я просто поясню: ведь секрет алхимика — это не секрет химика; секрет химика — в чистом опыте, то есть все должно быть как у Пастера: созданы условия для чистого опыта, и результат чистого опыта важнее состояния души экспериментатора. А вот для алхимика, если у него не получается философский камень и золото, — это значит, что он несовершенен, а не только компоненты опыта, потому что алхимик выращивал вместе с философским камнем золото собственной души. И вот в этом смысле Мераб совершенно библейский человек и, безусловно, следует заветам Сквороды, который святость личности ставил впереди умствования. Мераб занимался самосовершенствованием, и это самосовершенствование было у него не умозрительным, а как общая идея жизни.

Я застал Мераба молодым грузинским провинциалом, а я был молодым уральским провинциалом. Это был, конечно, интеллеktуал и, конечно, не провинциал в широком смысле слова, но это был грузинский мальчик с далекой окраины. Этот человек преодолел очень многое, начал говорить на нескольких языках, стал самым элегантным из всех людей моего окружения (а какие вокруг меня были пижоны, одних артистов только сколько было!), причем настоящим эстетом, настоящим денди. Одно движение руки с трубкой чего стоило, или как он сервировал стол для нас двоих, как он готовил баранину — это было священнодействие, и причем не пижонское, чтобы пустить пыль в глаза, а внутреннее желание совершенства.

Ну а наши беседы о нравственности, наши беседы о мужском достоинстве, часами продолжавшиеся с глазу на глаз, где мы исповедовались друг перед другом, впрочем, нам было легко исповедоваться, потому что наши совпадения были настолько поразительны, что начинаешь верить в реинкарнацию и в длинный, пройденный вместе, хотя бы эволюционный путь, потому что в жизни не бывает таких совпадений. Мы могли разговаривать молча. Иногда в компании мы улыбались в одно и то же время, нам что-то казалось смешным, и у нас были приступы тошноты в одно и то же время от пошлости, и мы переглядывались и понимали друг друга. У нас даже возник определенный свой язык, который никто не понимал. Например, если он или я говорили «Канделябры», это значило: «Ага, советско-мещанские вкусы». Если мы говорили «Ну, это МГИМО», это значило: «Стукачи». У нас был свой вокабуляр, как у детей — своя речь.

Философия Мераба делалась не только для людей и для философии. Мы дышим не для кого-нибудь, а для себя, как я рисую в первую очередь не для кого-нибудь, а для себя. Он философствовал для себя, и этим он очень походил на Сократа, который не оставлял записей. И многие определения должны быть расшифрованы. Например, у него часто в заметках встречается ироническое замечание, связанное с советским строем, с советской идеологией, со всем Советским Союзом, со сталинской цивилизацией, скажем так, которое у нас переросло в бытовое звучание — «рожденное из бумажки», «цивилизация, рожденная из бумажки». Так же мы могли говорить о манерах, о вкусах, связанных с кино, или с искусством, или с манерой одеваться — «рожденное из бумажки». Я к этому уже добавил — «рожденное из этикетки», то есть в иронически-бытовом смысле я это расширил. Мы были в Гурзуфе, и я сказал, что я не могу купаться в этом море, потому что там нет этикетки, что это дорого. А в широком

смысле (сейчас я отклоняюсь, но я хочу пояснить) можно расшифровать, например, так: многие диссиденты были ошарашены, что я, строя монумент, отказался назвать его «Жертвам сталинизма», а назвал его «Жертвам утопического сознания». Им казалось это странным, а Мераб буквально захлебывался от восторга, как, впрочем, и Карякин. Карякин — грамотный человек, а Мерабом это было органично воспринято как развитие его мысли.

Дело в том, что мы считаем советскую идеологию и советскую философию порождением каких-то материалистических идей, но это абсолютная чушь. Советская идеология и советская философия — это законченный платонизм. Платон, который хотел создать республику без поэтов, изгнать поэтов, сам стал, кстати, в этом месте поэтом больше, чем кто бы то ни был (так всегда бывает с ниспровергателями). Действительно, та жизнь, в которой мы жили, была «рождена из бумажки», потому что всякий жест, всякий предмет, всякая речь были идеологизированы. Все было идеологизировано. Причем никакого отношения ни к реальной жизни, ни к реальной философии это не имело. Сталинские «Вопросы языкознания», конечно, украдены у Марра, но именно Сталиным доведены до крайнего обморочного платонизма. Это безбожный антиэстетический идеализм (думаю, можно так сказать, поскольку идеология — это производное от идеализма). На этом фоне мерабовская философия никак не умещалась в идеологизированное пространство этого совершенно обывательского платонизма.

Но Мераб считал, и я с ним согласен, что жизнь надо воспринимать в целом, а не частями. И это та сторона мерабовского мышления, которой никто не видел (а я видел, потому что, во-первых, мы понимали друг друга и, во-вторых, он кое-что растолковывал). Что значит, что жизнь надо воспринимать в целом? Сама история, само существование, особенно то, что

мы называем, если говорить об истории, метаисторией, есть отражение процессов, нам не видимых (я во всяком случае в это глубоко верю). Не обязательно ангелы с демонами дерутся (хотя действительно ангелы с демонами дерутся, если эту терминологию воспринимать не впрямую, так, что люди с крылышками и существа с хвостами мечами рубятся), но в любой философии, в любой метафизике, в любых мифах (это совершенно очевидно) существует понятие зла как присутствующее рядом с понятием добра (в христианстве это первородный грех от падения, который проецирует зло, в других религиях — другое, и в античной религии, и в любых, что называется, примитивных верованиях, доисторических, — везде существует понятие зла как присутствующее рядом с понятием добра).

Я бы сказал, это даже не знание, потому что знать это невозможно, это ощущение, это мирочувствование, даже в определенном смысле прозрение. У меня это прозрение естественно, я прошел войну, и любой человек, прошедший войну, это знает наглядно, и никакие проповедники его не переубедят, потому что это реальность не только внешняя, но и внутренняя.

И вот поэтому Мераб был ироничен к переустройству. Поэтому диссидентское мышление, не подкрепленное пускай материалистической, как у Сахарова, но цельной философией, ему и мне казалось суетным. Хотя мы никак не мирились с этим существованием и достаточно презирали его. Особенно Мераб не любил, и в этом мы с ним сходились, то, что мы называли «юркость мысли». В жизни эта «юркость мысли» называется очень просто: ты читаешь, допустим, прекрасную поэзию, а для иллюстрации кто-нибудь тут же рассказывает пошлый анекдот, или, например, есть люди, желающие быстро протянуть ручку и быстро сообщить о своем знании, как юркие отличники в первых классах школы. В жизни и в философии это не годится, потому что и жизнь, и философия чересчур серьезное дело.

Мераб не относился плохо к вульгарно диссидентствующим людям, а плохо относился к вульгарной поспешности выводов. Например, он был открытым врагом желания Грузии отделиться от России, выраженного в националистических терминах, и это говорило о нем как о человеке гораздо большей смелости, чем рядовое диссидентство. Почему? Потому что диссидентом в мещанских и даже интеллектуальных кругах было быть почетно. Но грузин, который выступал против грузин же, — это было убийственно. А он между тем в действительности, несмотря на то что он, конечно, мировой философ, европейски отточенный человек, был грузином даже больше, чем ему казалось.

Он был сдержанным мужественным человеком, но я видел гневного Мераба, и гневался он всегда на одно — на пошлость. Для него не было ничего страшнее повседневной пошлости советского, я подчеркиваю, мещанства, как и для меня. Потому что, конечно, никогда никакие реднеки¹, никакие американцы не дотянут до того уровня пошлости, которым отличались те места, где жила советская инженерия, советские художники. Концентрация пошлости, например, на Масловке, где жили художники, достигала смертельного уровня. А уж какая пошлость была среди философской элиты, академической элиты, об этом говорить не приходится.

Мераб был человеком грандиозного сарказма, я бы сказал, испепеляющей нелюбви к пошлости. Но честь ему делает то, что как у философа, и в первую очередь как у человека, у него было чувство меры. Когда он давал волю своим чувствам в некоторых своих заметках, я вижу, насколько он смирял себя, видимо считая перевозбуждение и пересарказм недостойными облика философа, не гуманитарного философа, абстракт-

¹ От англ. *rednecks* — «красношеее». Так раньше в Америке за характерный загар называли белых батраков; теперь означает малообразованный пролетариат. — *Примеч. ред.*

ного философа, а философа Мераба Мамардашвили. Поэтому, когда я читаю его заметки и лекции, особенно лекции, которые он читал в Грузии, и вижу, как он в слегка законспирированной форме говорит жуткие вещи, я знаю, насколько жутче он говорил это в интимной беседе и как он мог бы испепелить, — Мераб это делал похлеще всех юрких сатириков современности. А публично он этого не допускал.

Он воспринимал жизнь в целом, что давало ему возможность дружить и работать с аппаратчиками коммунистической идеологии, и работать в журнале «Вопросы философии», то есть быть номенклатурой, и читать лекции в коммунистических университетах. Мераб и на сотую долю не был коммунистом. Его мироощущение было шире, чем кухонное фрондерство коммунистов, которые считали себя диссидентами. Зачем мне было быть (я о себе скажу, это проиллюстрирует мироощущение Мераба, потому что у нас оно было единое) огорченным аспирантом, которому не дают возможности стать доктором якобы за еврейское происхождение или просто потому, что он бездарен, и он становится диссидентом? Зачем? Я и во времена Сталина лепил кресты и такие вещи, за которые могли убить и убивали. Зачем Мерабу было равняться с этими юркими передельщиками Вселенной? Мы оба не любили всех ревизионистов и передельщиков, потому что мир наполнен горечью, злом, несчастьем и надо улицы подметать и булки хорошо выпекать. И мы с ним часто говорили, что чем несовершеннее личность (и также нация), тем скорее она начинает искать политического лидера, который исправит жизнь; мы же ощущали себя достаточно элитарными людьми, чтобы не быть в этом протестующем строю. В этом была широта его отношения к жизни. Зиновьева, например, бесили западные идеалисты-коммунисты, которые несли чушь. Саша бился головой об стену, готов был с ними грызться, а мы с Мерабом сидели, слушали ка-

кого-нибудь грамшиста и только иронически переглядывались.

Я много общался с людьми, имена которых всемирно известны. Я не буду всех перечислять. Это крупнейшие политики и президенты, создатели огромных теорий, как Винер, Нильс Бор, Ландау, Капица, Курчатов, великие художники. Не все они входят в мой внутренний пантеон великих людей, разве что великих профессионалов. Мераб для меня на всю жизнь остается не только ближайшим другом, не только поделником моей души, но еще действительно, в первую очередь, великим человеком и философом, в котором человеческие качества неотделимы от профессиональных, то есть от истории мировой мысли.

Нью-Йорк, сентябрь 2006 г.